
С. В. ГОРЮНКОВ

*О ЯЗЫКЕ И СОДЕРЖАНИИ БЫЛИН:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ*

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Идея, согласно которой былины создавались «всем народом»,¹ коренится в социально-психологической атмосфере эпохи романтизма — в специфически народническом стиле мышления, обновленном и усиленном в советскую эпоху. Влияние этой идеи на исследователей живо до сих пор. Но сегодня оно не может считаться вполне оправданным. Скорее в этом влиянии следует усматривать серьезную теоретическую проблему.

«Безымянность произведений говорит нам не о коллективном авторе, как одно время думали литературоведы, но об ином понимании роли автора. Слово для древних было языком богов, оно внушалось и вдохновлялось высшей силой, поэт был воспринимающим и передающим звеном. Необязательно было указывать свое имя, если можно было сослаться на авторитет более высокий, на заветы и традиции отцов, на божественную силу — источник вдохновения».²

То, что мы знаем о происхождении эпоса других народов, свидетельствует, что его творцами являлись представители особой социальной группы профессионалов (скальдов, бардов, дружинных певцов),³ в совершенстве владевших и изощренно игравших образным языком эпохи. Словесное искусство было нередко одним из видов наследственного ремесла,⁴ предполагавшего владение достаточно сложной техникой работы с языковым материалом (о степени сложности можно судить, в частности, по правилам скальдического стихосложения⁵). Вместе с тем ремесло это носило ярко выраженный общественный характер: «Поэт как носитель обожествленной *памяти* выступает хранителем традиций всего коллектива. Память, противостоящая забвению (...) фиксируется в поэтических текстах (...) При этом само повествование, поскольку оно должно репродуцироваться и передаваться во времени, строится с учетом возможностей человеческой памяти, чем и объясняется употребление формул на всех уровнях текста, дублирование содержательной структуры, звуковой и т. п.»⁶ Тем самым обеспечивается максимальная экономия в организации текста и его необычайная помехоустойчивость,⁷ то есть все то, что мы наблюдаем в былинах.

¹ *Протт В. Я.* Русский героический эпос. М., 1999. С. 69.

² *Афанасьева В. К.* Древнейшая в мире // От начала начал: Антология шумерской поэзии. СПб., 1997. С. 18.

³ *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение: Восток и Запад: Избр. тр. Л., 1979. С. 397—407.

⁴ *Дьяконов И. М.* Введение // Мифологии древнего мира. М., 1977. С. 29.

⁵ *Стеблин-Каменский М. И.* Культура Исландии. Л., 1967. С. 91—119.

⁶ *Топоров В. Н.* Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественных знаний в древности. М., 1982. С. 20.

⁷ Там же.

Считать, что русский героический эпос является в плане своего происхождения исключением из правила, означает отказываться от самой возможности изучения его необычайно сложной смысловой структуры. И хотя вопрос о профессиональных певцах и сказителях в Древней Руси почти не изучен, отрицать их существование нет никаких оснований. В «Слове о полку Игореве» упоминается Боян — певец начала XI в., воспевавший «старых князей». Из летописей под 1241 г. известно «„о словутном певце Митусе“, который „древле за гордость не восхоте служить князю Данилу“ и его „разодранного аки связанного приведоша“ насильно к князю».⁸ «Боян и Митуса — княжеские певцы, заслужившие особую известность».⁹ А факт существования особо известных певцов неявно предполагает существование и других, менее известных.

* * *

Упрощенный взгляд на происхождение былин как на совокупное творение всего народа — это *лжеаксиома № 1* современного эпосоведения. Ее прямым следствием является такой же упрощенный взгляд на язык и содержание былин.

Речь идет о том, что современное отечественное эпосоведение в своих попытках теоретически осмыслить сущность былинного языка откровенно игнорирует его необычайно важную смысловую сторону — ту, что связана с так называемыми семантическими переносами (с метафоричностью, символикой и прочими видами иносказательности). Более того, иногда всем таким переносам прямо отказывается в праве на существование. «Язык эпоса, — пишет В. Я. Пропп, — почти полностью лишен метафоричности. Это не значит, что певец не владеет искусством иносказания. Отсутствие в эпосе метафор не недостаток, а показатель иной системы. И метафоры и сравнения в эпосе есть, но они встречаются весьма редко и не составляют основного художественного принципа эпоса».¹⁰

Попробуем понять, что стоит за данным более чем спорным утверждением.

Начнем с того, что былины совершенно очевидно нуждаются в неких общепонятных и общепризнанных правилах своей интерпретации. Но судя по тому, что реального взаимопонимания между интерпретаторами былин нет, нет и общепринятых правил. И в то же время, поскольку реально наблюдаемая разноголосица произвольных мнений интерпретаторов былин считается «равно научной», такие правила есть. Так есть правила или их нет?

Правда заключается в том, что современное эпосоведение исходит в своих предпосылочных основаниях не из четко сформулированных правил (таких действительно нет), а из неких полубессознательных, унаследованных от предыдущей научной традиции установок, обусловленных общим состоянием и уровнем обществоведческой мысли. А главнейшая из таких установок представляет собой неявно подразумеваемую *презумпцию тождества мышления создателей былин и их исследователей*.

Презумпция эта почти никогда не становится предметом специального обсуждения. Исключения крайне редки и лишь подтверждают правило. «Мне представляется, — пишет, в частности, Д. С. Лихачев, — что постановка вопроса об особом характере средневекового мышления вообще неправомерна: мышление у человека во все века было в целом тем же».¹¹

Между тем именно презумпция тождества мышления людей разных эпох — начало и скрытый источник всех остальных проблем не только эпосоведения, но и других областей истории духовной культуры.

В основе данной презумпции лежит идея ассоциативного восприятия реальности: ее приверженцы «вслед за Тейлором и Спенсером полагают, что „основным законом психологии является закон ассоциации, то есть связи, устанавливаемой

⁸ История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 1: Литература XI — начала XIII века. С. 219.

⁹ Там же.

¹⁰ Пропп В. Я. Русский героический эпос. С. 517.

¹¹ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 68.

между элементами нашего опыта на основе их смежности или сходства“, а потому „законы человеческого духа ⟨...⟩ во все времена и на всем земном шаре одни и те же“». ¹² Но сегодня ни Э. Б. Тейлор, ни Г. Спенсер не считаются выразителями «последнего слова» науки о законах мышления; их логические построения, ограниченные опытом чувственного восприятия реальности, были поставлены под сомнение еще Л. Леви-Брюлем и его последователями, заострившими внимание на алогичности ранних представлений. Еще дальше пошел К. Юнг, показавший, что прежний человек «не более логичен или алогичен, чем мы. Просто он думает и живет, исходя из совсем других предпосылок по сравнению с нами»; ¹³ «различаются ⟨...⟩ только исходные предпосылки». ¹⁴ С другой стороны, уже в кантовском *априорном* понятии была явлена связь между предпосылочными основаниями мышления и их принципиально символической природой. А по мере углубления в различные аспекты этой связи (Э. Кассирер, Х.-Г. Гадамер, К. Леви-Стросс и др.) несостоятельность упрощенных подходов к изучению исторической специфики законов мышления становится все более очевидной и осознаваемой.

В свете сказанного презумпцию тождества мышления людей разных эпох приходится рассматривать как случайно уцелевшую в отдельных специализированных областях гуманитарного знания реминисценцию прежних научных взглядов — бессознательную имитацию руководящего принципа, пережиточно сохраняющую видимость предпосылочной достаточности. В частности, применительно к эпосоведению о ней приходится говорить как о *лжеаксиоме № 2*, создающей на путях изучения былин серьезные препятствия и «завалы».

Это не преувеличение. Именно презумпция тождества мышления создателей былин и их исследователей заранее, априорно исключает саму возможность присутствия в языке былин чего-либо выходящего за рамки узкоспециальной и узкоориентированной компетенции исследователя. А тем самым она поддерживает в сознании эпосоведов иллюзию изначального понимания содержания изучаемых текстов. Причем претензия на такое понимание может заявляться по-разному. Например: «Главная особенность художественной структуры эпоса — ⟨...⟩ гипербола» ¹⁵ (то есть подразумевается, что художественная структура эпоса авторам предельно ясна, потому что гипербола — это поэтический прием, способный изменять смысловое содержание лишь в его количественных, но не качественных аспектах). Или: «Былина всегда выражает вековые идеалы и стремления народа...» ¹⁶ (из контекста утверждения видно, что идеалы эти исследователю ясны заранее, поскольку связаны с классовой борьбой трудовых масс, с ненавистью к князьям, боярам, купцам и духовенству, со стремлением к национальному и государственному единству ¹⁷). Или: «...противоречивые и нецельные ⟨былинные тексты⟩ можно считать более поздними» ¹⁸ (то есть все, что есть в былинах непонятного, — это, по мысли автора, результат исторической порчи их исходных, абсолютно понятных вариантов).

Во всех этих и многих других подобных им постулатах ясно видна претензия исследователей на изначальное понимание предмета своего исследования. А следствием оказывается то, что из профессионального кругозора исследователей выпадает не только задача проникновения в *собственный ментальный строй эпической поэзии*, но и сама мысль о реальности существования такого строя. В лучшем случае за его проявление принимается «движение от простейших форм художественного освоения действительности к более сложным — конкретно-историческим». ¹⁹

¹² Данилевский Н. И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). М., 1999. С. 19.

¹³ Юнг К.-Г. Проблемы души нашего времени. М., 1993. С. 159—161.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Балашов Д. М., Новичкова Т. А. Русский былинный эпос // Бв25т. Т. 1. С. 24.

¹⁶ Пропт В. Я. Русский героический эпос. С. 27.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Аникин В. П. Былины: Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М., 1984. С. 108—

112.

¹⁹ Балашов Д. М., Новичкова Т. А. Русский былинный эпос. С. 77.

Неудивительно, что «единственно научным» в этой ситуации начинает представляться чисто умозрительный подход к истолкованию «буквы» содержания былин (подход, выдаваемый за проникновение в их идейный строй и замысел).²⁰ То есть предполагается, что для понимания смысла былинного сюжета вполне достаточно изучения всей совокупности его вариантов.²¹ Но что означает на практике *вся совокупность вариантов былинных сюжетов*? В конце XIX — начале XX в. повышенный научный спрос на всё новые и новые записи былин породил их чисто «рыночное» предложение. У очень многих сказителей Прионежья хранились на дому изданные ранее былинные сборники (в том числе и лубочная литература XIX в.), на основе которых они пополняли и разнообразили свой репертуар, стимулируя активность собирателей. Как следствие, основной корпус былинных записей представлен сегодня именно этим вторичным материалом, статистический учет которого не только не приближает к пониманию исторического содержания былин, но, наоборот, существенно затрудняет его.²² А в итоге создаются еще более благоприятные условия для того, чтобы вместо проникновения в собственный ментальный строй эпической поэзии на нее переносились произвольные представления и догадки самого исследователя.

В свою очередь изначально предвзятый, умозрительный подход к историческому изучению былин толкает исследователя не просто на путь прямого игнорирования эмпирической фактологии своего материала, но на путь *научного обоснования* такого ее игнорирования. «Чем (...) объяснить (...) ограниченное применение метафоричности в эпосе, тогда как лирическая поэзия насквозь пронизана метафорой? (...) Те предметы, те явления жизни, которые в нем воспеваются, созданные им герои и изображаемые им события настолько высоки, совершенны и прекрасны, обладают сами по себе настолько широким общенародным интересом, что не нуждаются ни в какой метафоричности. Они не требуют никакой *подстановки, замены, соотнесения их с образами из других областей жизни.* (...) Наоборот (...) вся поэтическая система эпоса направлена к тому, чтобы из окружающего мира выделить и определить нужное с совершенной четкостью и точностью, так, чтобы созданный поэтическим воображением образ предстал перед слушателем во всей его зрительной конкретности».²³

Обратим внимание: все эти теоретические пассажи звучат на фоне диаметрально противоположной исследовательской практики. Например: история научного объяснения природы второго персонажа сюжета «Добрыня и Змей» представляет собой не что иное, как перебор вариантов «соотнесения его с образами из других областей жизни». То есть под Змеем подразумеваются то язычники,²⁴ то кочевники,²⁵ то хазары,²⁶ то темные силы прошлого.²⁷ Сама же змееборческая мифологема фактически наделяется функцией иносказания, то есть функцией подстановки, замены, семантического переноса.

Налицо неизбежное на почве лжеаксиоматики расхождение теории с практикой: теория, игнорирующая семантическую неоднозначность языка былин, предполагает по умолчанию, что их нынешнее содержание *в целом и главным* соответствует первоначальному, в то время как на практике такое предположение ничем не подтверждается.

²⁰ Протт В. Я. Русский героический эпос. С. 20.

²¹ Там же.

²² Главным образом он затрудняет его тем, что на общем фоне нивелированного и рационализованного сказителями-компиляторами вторичного материала единичные реликтовые записи особенно легко зачисляются в разряд «случайной порчи текста».

²³ Протт В. Я. Русский героический эпос. С. 518—519 (курсив мой. — С. Г.).

²⁴ Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности. М., 1897. Т. 1. С. 146—148.

²⁵ Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952. С. 70.

²⁶ Аникин В. П. Былины: Метод выяснения исторической хронологии вариантов. С. 157—158.

²⁷ Протт В. Я. Русский героический эпос. С. 196.

* * *

Проблема соответствия или несоответствия языка былин их содержанию — это теоретико-методологическая проблема. И в качестве таковой она может быть переформулирована как проблема способа существования былин в историческом времени. А поскольку «историческое время» — это категория, принадлежащая сфере намного более широкой, нежели собственно филологическая, решение на ее основе даже чисто эпосоведческой задачи должно исходить не из узкоспециального, а из общетеоретического научного опыта.

Трудность, однако, заключается в том, что такого рода опыт существует не в качестве готового рецепта решения прикладных задач, а в качестве совокупности острейших вопросов, порожденных скрыто развивающимся в общественных науках кризисом. Кризис обнаруживает себя фактом неявного дистанцирования многих философов от методологии исторического материализма. Это видно из сравнения статей, освещающих тему историзма в доперестроечных и новейших философских словарях: если в первых даются концептуально нагруженные дефиниции, то во вторых понятие историзма низводится до уровня почти что гераклитовских представлений об изменяемости всего сущего во времени.²⁸

Самое же интересное: появились философские словари, где статьи «Историзм» нет вообще,²⁹ как нет зачастую и статьи «Исторический материализм».³⁰ А там, где понятие исторического материализма все еще сохраняется, ему дается уничижающее определение: «Амбиции теоретиков и апологетов исторического материализма на придание ему статуса универсальной парадигмы социальной философии и социологии, основанной на позитивистских методологиях, натурализме в трактовке общества и причинно-механической модели мирообъяснения, были опровергнуты достижениями общенаучных и гуманитарных дисциплин XX столетия — новейшими макроэкономическими моделями, общей теорией систем, представлениями о нелинейных процессах, данными наук о массовых коммуникациях. Одновременно крушение социализма в Европе, наиболее общей санкцией которого на теоретическом уровне являлся исторический материализм, наглядно продемонстрировало реальные преимущества современных неортодоксальных социологических, политологических, психоисторических и прочих методик адекватного отображения и перспективной реконструкции хода исторического процесса. Серьезные сомнения европейских интеллектуалов в правомерности концепции неограниченного социального прогресса (сердцевины и „души“ исторического материализма) также содействовали закату этой некогда модной идеологической доктрины социально-философского толка».³¹

Имеются, впрочем, и заявки на неисчерпанность потенциала исторического материализма.³² А чтобы понять, почему они не заслуживают доверия, достаточно чуть внимательнее, чем обычно, вдуматься в традиционное определение принципа историзма: «Историзм — это подход к объекту с точки зрения закономерного процесса его развития»;³³ «Историзм — принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их условиями».³⁴

В этих формулировках — разгадка смысла тенденции *неявного* отхода от историко-материалистической методологии. Дело в том, что с позиций элементарной логики данные формулировки принципиально тавтологичны: они одновременно

²⁸ Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Рук. проекта В. С. Степин, В. Г. Семигин. М., 2001. Т. 2. С. 175.

²⁹ Философский словарь / Под ред. П. С. Гуревича. М., 1997; Новейший философский словарь / Под ред. А. А. Грицанова. Минск, 2002; Философский словарь: Справочник студента / Под ред. Г. Г. Кириленко, Е. В. Шевцова. М., 2002.

³⁰ Новая философская энциклопедия. Т. 2.

³¹ Новейший философский словарь / Под ред. А. А. Грицанова. Минск, 2002. С. 450.

³² Философский словарь. 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. Т. Фролова. М., 2001. С. 225—226.

³³ Философская энциклопедия: В 5 т. / Под ред. Ф. В. Константинова. М., 1962. Т. 2. С. 352.

³⁴ Философский словарь. 5-е изд. / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1987. С. 177.

служат и требованием рассматривать явление с точки зрения закономерного процесса его развития (в конкретных условиях его становления и развития), и самим инструментом изучения этого процесса (этих конкретных условий). То есть в своих традиционных формулировках историко-материалистический метод как бы заранее предполагает знание того, на изучение чего нацелен. Между тем «научное доказательство не должно предполагать как предпосылку то самое, обосновывать что является его задачей»,³⁵ в противном случае мы имеем ситуацию, называемую в методологии научного поиска «кругом в доказательствах» («*circulus visiosus*»).

Суть проблемы круга в доказательствах заключается в невозможности вырваться из потока замкнутых друг на друга языковых понятий, каждое из которых раскрывается через посредство других понятий, а эти другие — через посредство новых понятий и так далее, вплоть до исчерпания всего языкового универсума. В науках же, основанных на идее временной динамики (в космологии, в геологии, в эволюционной биологии, в истории), суть проблемы усугубляется гипнозом понятия «происхождение», создающего иллюзию высвобождения из плена замкнутых на самое себя понятий. На самом деле «круг» здесь предельно обнажает свою сущность, пытаясь объяснить происхождение чего-либо с помощью того, что само требует объяснения, то есть с помощью мифологической по своему генезису идеи «происхождения».³⁶

В переводе на уровень методологического обобщения ситуация формулируется так: если историзм (понимаемый как особым образом оговоренная идея «происхождения») произведен от ранних форм коллективного мышления, то объяснять происхождение самих этих форм исторически означает замыкаться в плену тавтологических умозаключений. В философии и логике науки такой подход к предмету считается не имеющим собственной доказательной силы и называется методологическим порочным кругом.³⁷

Проблема порочного круга в исторической науке — это проекция на мировоззрение чисто формальной проблемы парадоксов теории бесконечных множеств. Обе они — и ситуация порочного круга в исторической науке, и ситуация с парадоксами теории бесконечных множеств — производны от концепции актуальной бесконечности, так как бесконечное возрастание информационного разнообразия, задаваемое параметром развития «от простого к сложному», аналогично бесконечному возрастанию значений в ряду натуральных чисел. Но в математике противоречивость умозаключений, построенных на использовании идеи бесконечности, была осмыслена еще в начале XX в.; в мировоззренческой же сфере, являющейся ареной столкновения далеко не одних только научных интересов (но также политических, идеологических, конъюнктурных и пр.), она продолжает игнорироваться до сих пор.

К сожалению, игнорируется она главным образом отечественными специалистами. На Западе давно уже развиваются целые направления неклассической мысли, связанные с переоценкой категории «историчности бытия». Это и отвержение линейного «прогрессизма», и неприятие упрощенного детерминизма, и критика «наивного исторического объективизма» (выражение Х.-Г. Гадамера),³⁸ и многое другое. Насколько далеко зашла в своей переоценке категории «историчности бытия» западная теоретическая мысль, можно судить по философии Хайдеггера, строящейся на «чередности исторически обусловленной трансформации смысла бытия».³⁹ Хотя в прикладном отношении западная гуманитарная мысль продолжает очень сильно зависеть и от классической (традиционно-просвещенческой) парадигматики XVIII в.

³⁵ Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 14—15.

³⁶ Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000. С. 105—110.

³⁷ Горюнков С. В. О соотношении мифологии и онтологии (в свете идей В. И. Вернадского) // Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. С. 90.

³⁸ Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 581.

³⁹ Краткая философская энциклопедия / Сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. М., 1994. С. 191 (курсив мой. — С. Г.).

В отечественном же обществоведении, точнее — в области его методологического обоснования, ситуация намного хуже. Поскольку здесь в XX в. имело место не столько решение научных задач, сколько выполнение госзаказа на критику буржуазной идеологии, то и всю выходящую за истматовские рамки проблематику, связанную с «неудобными» вопросами теории и истории культуры, отечественные методологи вообще проспали. Потому-то они и вынуждены сегодня заниматься стыдливо-молчаливым переписыванием соответствующих учебников, пособий и словарей. А в роли «крайних» при этом остаются гуманитарии узкоспециального профиля, в том числе и фольклористы. Воспитанные практикой предыдущей эпохи в слепом доверии к спускаемым сверху методологическим установкам, они если и замечают происходящее, то не воспринимают его как непосредственно к ним относящееся.

Но это значит, что, оказавшись по факту в положении теоретически разоруженных, они, как правило, даже не осознают себя таковыми, удовлетворяясь в качестве методологии общественных наук ее имитационными штампами прежних времен.

Вот классический образец такого штампа, продолжающего оказывать свое пережиточное влияние на интеллект даже очень крупных ученых: «Одно из основных требований нашей современной науки состоит в том, чтобы все явления человеческой культуры изучались в их историческом развитии».⁴⁰

Здесь подразумевается, что историческое развитие — это нечто общеизвестное и всем понятное (иначе обесмысливается само требование). В действительности же ничего общеизвестного и всем понятного в процессе исторического развития нет. А есть господствующее в научном сознании спекулятивное понятие, в рамках и средствами которого на протяжении последнего столетия интерпретировались и все другие понятия («Философское осмысление „развития“ означает воспроизведение всеобщих характеристик всего многообразия связей, отношений и процессов реальности»⁴¹). И есть устаревшая теория — традиционно-истматовская трактовка социальных процессов, настроенная исключительно под «прогрессистский» камертон. В то время как в жизни имеют место постепенно признаваемые наукой и другие способы объяснения динамики социальных процессов.

Новейшие данные по истории духовной культуры позволяют говорить о самой этой истории не как об инновационном процессе «прогресса в сознании», а как о структуре и динамике взаимодействия бессознательных форм коллективного мышления с их осознанными формами⁴² (невнимание к такой трактовке историзма оборачивается расцветом практик нейролингвистического программирования, зомбирования, рекламного «одебивания» и прочих технологий манипулирования массовым сознанием). Вызывает постепенно понимание истории познавательного процесса как трансформации инварианта: «Универсальные формы познания инвариантны для специализированных форм»⁴³ (см. также у лингвистов: «Все более продуктивным становится представление об инварианте, сохраняющемся при всех преобразованиях (...) Более того, сам инвариант определяется совокупностью этих преобразований»⁴⁴). Наконец, все большее признание получают диалогические трактовки историзма, от теорий типа «вызов — ответ» (А. Тойнби⁴⁵) до взгляда на взаимодополняемость мировых цивилизаций как на основу и решающий фактор социальной динамики.⁴⁶ А среди диалогических трактовок историзма

⁴⁰ Пропп В. Я. Русский героический эпос. С. 12.

⁴¹ Новая философская энциклопедия. Т. 2. С. 175.

⁴² Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985. С. 25—27.

⁴³ Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: акад. Л. С. Ильичев, акад. П. Н. Федосеев, д. ф. н. С. М. Ковалев, д. ф. н. В. Г. Панов. М., 1983. С. 205.

⁴⁴ Иванов В. В., Топоров В. Н. Инвариант и трансформация в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В. Я. Проппа (1895—1970). М., 1975. С. 44.

⁴⁵ Тойнби А. Дж. Постигание истории. М., 2002. С. 113—149.

⁴⁶ См. материалы 1-й конференции мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» (Бахрейн, 27 янв. 2008 г.).

особый интерес представляют такие, которые рассматривают диалог с «последних позиций в отношении высших ценностей».⁴⁷

Ясно, что в условиях традиционного засилья «прогрессистских» интерпретаций исторического процесса, то есть в условиях игнорирования ситуации методологического порочного круга, ни о каких альтернативных моделях развития *всерьез* говорить не приходится. Что и оборачивается нарастающими трудностями в сфере научного взаимопонимания, а в конечном счете — компрометацией исторического знания в глазах самой широкой общественности.⁴⁸

* * *

Как видим, проблема историзма в ее сегодняшней форме — это, во-первых, проблема осознания кризиса историзма (кризиса в понимании идеи развития) и, во-вторых, проблема поиска путей выхода из кризиса. А любой поиск всегда начинается с выбора его отправной точки.

В одной из работ я допустил, что такой «точкой» может послужить нередкое смысловое несоответствие слов, содержащихся в древних текстах, таким же словам современного русского языка («стол» = «княжение», «рота» = «клятва», «живот» = «жизнь», «жизнь» = «богатство», «язык» = «народ», «корысть» = «добыча», «равнодушие» = «единодушие», «злоба» = «несчастье», «труд» = «печаль», «вина» = «причина», «задница» = «наследство» и др.).⁴⁹

В свете ключевого положения логической семантики о различении теории референции (обозначения) и теории смысла здесь возникает перспектива принципиально нового подхода к изучению любого традиционного, в том числе эпического, нарратива. Ведь если за важнейшее проявление исторического процесса принять изменение смысловой структуры естественных языков, а за итоговый результат этого процесса — обретение языковыми обозначениями новых смыслов,⁵⁰ то и сам способ существования в историческом процессе текстов, отразивших в себе реальные события прошлого, придется рассматривать с позиций, в корне отличных от истматовских.

А именно: придется исходить из того, что в процессе создания таких текстов они всегда облакаются массовым сознанием не в «протокольные» языковые формы, а в такие, которые обусловлены специфическим языком эпохи, ее мировоззренческим контекстом, ее смысловым полем, ее речевым строем. Соответственно, придется считаться с тем, что данному языку (контексту, полю, строю) свойственно изменяться во времени, — считаться в том числе и с утратой памяти о таких изменениях в сознании носителей языка. Но поэтому и в историческом бытовании созданных в древности текстов следует различать два качественно разных этапа: этап сохранения живой памяти об исторических фактах, облеченных в форму «языка эпохи», и этап забвения фактов, сопровождаемый переосмыслением законсервированного в текстах «языка эпохи» как их непосредственного содержания.

Сами же тексты, пережившие фазу консервации, следует в этом случае рассматривать как принципиально иносказательные.

Между прочим, такой вывод целиком согласуется с результатами, получаемыми в смежных дисциплинах: «Современная гуманитарная наука по существу есть герменевтика — наука об истолковании текста», потому что «язык, являясь систе-

⁴⁷ Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1997. Т. 5. С. 351—354.

⁴⁸ Имеются в виду книги А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского, а также многие другие аналогичные им образцы спекуляций на нерешенных (и не решаемых) методологических проблемах исторической науки.

⁴⁹ Горюнков С. В. О герменевтике былин // РЛ. 2002. № 1. С. 108. Некоторые из несоответствий были проанализированы в работах прикладного характера: Горюнков С. В. 1) К вопросу о Соловье Разбойнике: опыт исторического взгляда на понятие «разбойник» // Богатырский мир: эпос, миф, история. Муром, 2003. С. 62—65 (Уваровские чтения; [Вып.] IV); 2) О сюжете «Илья Муромец и Соловей Разбойник» // РФ. СПб., 2004. Вып. 32. С. 229—264.

⁵⁰ Горюнков С. В. О герменевтике былин. С. 108.

мой, развивается помимо наших желаний, амбиций и вкусов»;⁵¹ «...со временем слова претерпевают в лоне языка сложные специфические изменения. Ситуация осложняется тем, что филологи-русисты традиционно обращали недостаточное внимание на анализ подобных изменений. Перед нами — типичная герменевтическая ситуация: непонимание „темного места“ в источнике (а часто таким „темным местом“ может быть весь текст источника) сопрягается с принципом доверия к прежним способам истолкования языковых фактов»;⁵² «...нельзя быть уверенным, что лингвистам удалось зафиксировать все значения (с учетом временных изменений) всех слов, встречающихся в древнерусских источниках».⁵³

* * *

Но если перед нами — типичная герменевтическая ситуация, то и разрешаться она должна с помощью специальной методики, основанной на принципах, адекватных возникающим задачам.

Возможен такой ее вариант.

Любые тексты в любых взятых наугад «языках эпохи» представлены не только вербализованными, но и невербализованными смысловыми пластами (по причине их общеизвестности, или — что то же самое — по причине клишированности коллективного мышления разного рода штампами, фразеологизмами и прочими «фольклорными матрицами»). Именно поэтому созданные в древности тексты, и в первую очередь былины как повествования о былом, на начальном этапе своего существования это не только то, что явным образом повествуется, но и в гораздо большей степени то, что всем окружающим ясно и без слов, то есть то, что неявным образом подразумевается.

Но то, что подразумевается, — это уровень не слова, а мысли. А как изучать мысль, которая к тому же существовала много веков назад, да еще и в связи с событиями, нам почти не известными? Только одним способом — тем, который давно уже используется в самых разных областях поисковой деятельности: в дешифровках закодированных сообщений, в криминалистических расследованиях и т. п.

Способ этот известен в логике как «исчисление высказываний», а суть его сводится к процедурам выведения следствий из принятых за аксиому посылок с помощью функтора «если... то...». Процедуры такого рода принято обычно называть импликациями. Импликации и должны явиться главным методическим инструментом, позволяющим проникать в подразумевавшуюся сторону созданных в древности текстов. А система перекрестных импликаций, сопровождаемая эффектом нарастания смысловых совпадений или несовпадений между ними, должна послужить и проверочным критерием правильности каждой из импликаций.

Главное же: в качестве непосредственного материала для импликаций должны избираться — во избежание соблазна умозрительных «полетов мысли» — только те элементы изучаемых текстов, которые своей принадлежностью к семантическим переносам ставят под сомнение логику текстов, их связность, систему их внутренних мотивировок.⁵⁴

Методику изучения скрытого содержания древних текстов, строящуюся на использовании логического инструментария, уместно назвать *герменевтической*. Принятие такой методики на вооружение призвано обеспечить непредвзятое отношение исследователей к историческому содержанию былин. А практическое следование методике должно гарантировать получение результата, производного

⁵¹ Колесов В. В. Русская речь: Вчера. Сегодня. Завтра. СПб., 1998. С. 207—208, 215.

⁵² Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков... С. 7—8.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Например, в сюжете «Илья Муромец и Святогор» информационно емкими могут оказаться обращенные к Илье слова Святогора: «Ты человек не из рода» (Аст. Т. 1. С. 231; РО ИРЛИ. Рv. К. 5. № 9). А в сюжете «Илья Муромец и Идолище в Киеве» наводящими на интересные соображения могут оказаться слова встреченного Ильей калики переходящего, которые тот приписывает Идолищу: «Я мать правлишу» (Бв25т. Т. 1. № 64).

не от господствующих теоретических установок и не от субъективных исследовательских предпочтений, а от внутренней логики изучаемого материала.

ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ

Продemonстрируем практические возможности предлагаемой методики на примере рассмотрения сюжета «Добрыня и Змей».

Наиболее очевидными элементами, ставящими под сомнение логику сюжета и систему его внутренних мотивировок, здесь несомненно являются следующие два момента: 1) в подавляющем большинстве случаев речь в былине идет не о Змее, а о Змеё⁵⁵ (чем ставится под сомнение связь сюжета с классическим змеборством); 2) достаточно часто эта Змея мыслится явно в образе женщины («Он хватил тут Змею да за косы»; «Ты не бей же меня да змею лютую, Я те дам ище себя да красную девицу»⁵⁶).

Как эти странности объяснить? Очевидно, что только посредством образа Добрыни, известного не только былинам, но и летописям. Но здесь возникают свои трудности. Во-первых, существует давняя, высказанная в категорической форме убежденность исследователей в том, что исторических персонажей времен начала Киевской Руси былина не запомнила: «Нет никаких следов от имен этого периода (других, кроме Добрыни и Владимира. — С. Г.), между тем как имена являются наиболее устойчивым элементом в народных сказаниях».⁵⁷ Во-вторых, утверждается нередко, что имена Добрыня и Владимир присутствуют в былинах как случайные исключения, смутные отголоски народной памяти, не имеющие четких исторических привязок.⁵⁸

Казалось бы, тупик. Но тупик иллюзорный, основанный на не критическом отношении и к летописным, и к былинным источникам. Критическое же отношение к обоим этим видам источников позволяет взглянуть на образ Добрыни совершенно иначе.

Кто такой Добрыня в летописных источниках? Это дядя князя Владимира, его правая рука во всех крупных предприятиях того времени, будь то Крещение Руси или укрепление границ со Степью (отсюда традиционные толкования былинного сюжета). О нем известно также, что он низкого происхождения, так как его сестра Малуша названа в летописях ключницей (то есть, как полагают, рабыней) княгини Ольги, а ее сын Владимир — племянник Добрыни — робичичем (сыном рабыни). Считается, что лишь брак или даже простое сожителство Малуши с сыном Ольги Святославом позволили Добрыне возвыситься до положения знатного боярина при киевском дворе, а впоследствии — и новгородского посадника.

Но критический анализ летописных данных выявляет совершенно иной образ Добрыни. Прежде всего нужно сказать, что тезис о низком происхождении Добрыни вообще не имеет под собой никакой фактологической основы, так как робичичей названа в Лаврентьевской летописи под 1128 г. и плененная Владимиром полоцкая княжна Рогнеда, а слово «ключница» вовсе не равнозначно слову «рабыня» (это видно из материала былинных текстов: «Я отдам тебе, девица, за племянничка, Будёшь *ключницей*, станёшь *ларецницей*» — Гр. Т. 1. № 89). Факты говорят скорее об обратном. В свое время Д. Прозоровскому удалось разрешить целый ряд летописных загадок, отождествив Малка Любечанина — отца Добрыни и Малуши по Повести временных лет — с древлянским князем Малом. Основываясь на том, что ПВЛ о дальнейшей судьбе Мала после разгрома Коростеня умалчивает, а периферийные источники дают сбивчивую информацию (в том числе и ту, со-

⁵⁵ Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Примечания // Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С. 373.

⁵⁶ Там же. С. 48.

⁵⁷ Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности. М., 1910. Т. II. С. 150.

⁵⁸ Пропи В. Я., Путилов Б. Н. Эпическая поэзия русского народа // Былины: В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. XXVII—XXIX.

гласно которой Мала лишили княжения⁵⁹), Прозоровский предположил, что Мал был заточен Ольгой в Любече и превратился таким образом в Малко Любечанина. Соответственно Добрыня оказался в свете этой гипотезы древлянским княжичем, не успевшим вступить в свои наследственные княжеские права.⁶⁰

Не объяснила гипотеза Д. Прозоровского только одного момента — противоречия между отчеством Добрыни (Никитич) и именем его отца (Мал). Но это противоречие снял Ф. Буслаев, обративший внимание на то, что в западнорусских летописях древлянский князь назван не Малом, а Нискиней (с вариантами произношения этого имени). То есть, по Буслаеву, получилось, что на изначальное отчество Добрыни — «Нискинич» — наслоиилось влияние позднейшего греческого именослова, давшего конечное «Никитич».⁶¹ А еще позднее А. Шахматов, сопоставляя варианты произношения имени «Нискиня» с летописным контекстом, аргументированно отождествил их носителя с сыном воеводы Свенельда, фактического хозяина древлянской земли при князе Игоре. Соответственно Добрыня оказался у него внуком Свенельда.⁶²

Хотя предложенные реконструкции, проводившиеся независимо друг от друга, не разрешили всех летописных противоречий и даже породили новые, в основном они поразительным образом сошлись, указав на Добрыню как на потомственно-го, но по обстоятельствам своей биографии не состоявшегося древлянского князя. В свою очередь древлянская версия уже сама начала высвечивать некоторые непонятные места начальной летописи. Например, она позволила связать причинной зависимостью такие самостоятельные, на первый взгляд, исторические факты, как, с одной стороны, новгородское посадничество Добрыни, а с другой — существование в Новгородской земле Деревской пятины с городом Коростыню — двойником древлянского Коростеня.⁶³

* * *

Почему советские исследователи в массе своей игнорировали эти данные? Главная причина связана с особенностями советского периода развития исторической школы былиноведения; ее суть в том, что начиная с 1920-х гг. в советской фольклористике стало модным опровергать дореволюционную концепцию «аристократического» происхождения эпоса, противопоставляя ей «классовую идеологию крестьянства Древней Руси».⁶⁴ В подтверждение нового подхода стали говорить о некоем особом демократизме древнерусского государственного устройства, а в качестве примеров указывали не только на князя Владимира как на сына «простой ключницы-рабыни», но и на то, что вплоть до начала XI в. на Руси якобы существовал простор для инициативы и других «простых» людей: князь Кий и княгиня Ольга были «простыми перевозчиками через реку»; «простые крестьяне» Илья Муромец и Микула Селянинович принимались на службу в княжескую дружину; «простой безымянный юноша-кожемяка», победивший в единоборстве печенежина, вошел благодаря этому вместе со всей своей родней в боярский круг; «простой безымянный старик» — а не князя и не старейшины градские — спас от врагов Белгород и т. п.⁶⁵

Однако все эти примеры оказались при их ближайшем рассмотрении надуманными. Согласно древнейшим данным об Илье Муромце, он был похоронен в при-

⁵⁹ Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 250.

⁶⁰ Прозоровский Д. И. О родстве св. Владимира по матери // Записки Императорской Академии наук. СПб., 1864. Т. V. С. 18—25.

⁶¹ Буслаев Ф. И. Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса // ЖМНП. 1871. Ч. CLIV (март). С. 224—225.

⁶² Шахматов А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1. С. 248—257, 345.

⁶³ Там же. С. 128—130.

⁶⁴ Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952. С. 53.

⁶⁵ Там же. С. 56—57; Рыбаков Б. А. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 72.

деле церкви Св. Софии Киевской — родовой усыпальницы киевских князей,⁶⁶ а спасший Белгород «простой безмянный старик» явился, по данным Шахматова, потомком знатнейшего рода Свенельдичей.⁶⁷ Что касается остальных примеров, то в их основе лежит элементарная недооценка феномена раннеисторического образа мышления, очень важного для правильного понимания сути института верховной власти в его архаических формах. Дело в том, что функции вождей, отождествлявшиеся у раннеклассовых народов с функциями обоженных предков, соотносились нередко с тем или иным профессиональным занятием или ремеслом. Отсюда представления о князе Кие, а позднее о княгине Ольге как о «перевозчиках через реку»: «Перевоз чрез реку, — пишет Буслаев, — один из крупных фактов в мифологических и героических сказаниях»⁶⁸ (не случайно титул «перевозчика» носили в средневековой Западной Европе магистры тайных обществ масонского типа). Входило в число таких профессиональных занятий и кожевенное ремесло; о занятии им древнерусской знати сообщает персидский автор Амин Рази в пересказе сведений Ибн Фадлана («Знатные люди у них занимаются кожевным ремеслом и не считают эту грязь отвратительной»⁶⁹). А типологическое сходство «пахоты Микулы» с ритуальной пахотой царственных особ давно уже является признанным фактом, подкрепленным огромным количеством примеров. «Иван Грозный (<...> лично „вешнюю пашню пахал и гречиху сеял“, то есть как старший по положению открывал языческий по существу обряд первой вспашки и первого сева».⁷⁰ Ритуальная пахота китайского императора была обычна еще в XIX в.⁷¹ В старофранцузском эпосе в роли пахаря выступает константинопольский император Гугон,⁷² в сербском эпосе — Кралевич Марко.⁷³ Ритуал священной пахоты практиковался в Элевсине.⁷⁴ «Применительно к Северному Причерноморью отзвуки легенд о божественном пахаре сохранили комментарии византийца Евстафия, современника „Слова о полку Игореве“: по его словам, там, у тавров, „Осирис, запрягши вола, пахал землю“»;⁷⁵ см. также геродотовский рассказ о золотом плуге у скифов-сколотов⁷⁶ и южнорусское предание о таком же плуге как о символе власти.⁷⁷ Во всех таких примерах угадывается некая утраченная символика, связанная с мифо-религиозной семантикой. А сама сюжетная коллизия, связанная с «микулиной пахотой», поразительно напоминает обрядовую практику, описанную Дж. Фрэзером.⁷⁸

Инерция вульгарно-классового подхода оказывала влияние на советскую историческую науку достаточно долго; вот почему так редки и случайны в XX в. обращения к гипотезам Д. И. Прозоровского, Ф. И. Буслаева и А. А. Шахматова о предках летописного Добрыни.⁷⁹ В то же время проекция всех таких гипотез на былинного Добрыню распространения почему-то не получает и по сей день (если не считать редких и не всегда удачных исключений⁸⁰).

⁶⁶ Путевые записки Эриха Лассоты, отправленного римским императором Рудольфом II к запорожцам в 1594 г. СПб., 1873. С. 19.

⁶⁷ Шахматов А. А. История русского летописания. С. 475.

⁶⁸ Буслаев Ф. И. Сравнительно-критические наблюдения... С. 228.

⁶⁹ Ковалевский А. П. О степени достоверности Ибн-Фадлана // Исторические записки. 1950. № 35. С. 274.

⁷⁰ Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 776.

⁷¹ На это дважды указано в книге И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“».

⁷² Веселовский А. Н. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском). СПб., 1906. С. 53.

⁷³ Халанский М. Г. К истории поэтических сказаний об Олеге Вещем // ЖМНП. 1903. Ч. CCCL (ноябрь). С. 30.

⁷⁴ Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972. С. 153.

⁷⁵ Рыбаков Б. А. Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963. С. 13.

⁷⁶ Геродот. История. М., 1999. С. 236.

⁷⁷ Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876. С. 99—102.

⁷⁸ Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1983. С. 274.

⁷⁹ Соловьев А. В. Был ли Владимир Святой правнуком Свенельда? // Записки Русского научного института в Белграде. [Белград], 1941. Вып. 16/17. С. 37—64; Поппэ А. В. Родословная Мистиши Свенельдича // Летописи и хроника. М., 1973—1974. С. 64—92.

⁸⁰ Членов А. М. По следам Добрыни. М., 1980.

Между тем если признать в летописном Добрыне потомственного древлянского князя, лишённого в силу превратностей войны с Киевом своего социального статуса, то становится ясным очень многое и в былинной характеристике образа Добрыни. Объясняется, например, почему в былинах говорится о детских годах Добрыни как о времени, проведенном им в условиях невольничьей зависимости, но одновременно упоминается и о принадлежности Добрыни к княжескому роду, — это полностью соответствует гипотезе Прозоровского, согласно которой Добрыня должен был пережить в молодости состояние «раба по военному праву» (юридически оно отличалось от обычного рабства тем, что оставляло возможность последующего социального возвышения). Становится понятно также, почему былины изображают Добрыню «безотцовщиной», хотя о его отце в тех же былинах говорится как о доживающем до глубокой старости, — это тоже вписывается в гипотезу Прозоровского, согласно которой древлянский князь был не убит, а лишь устранен с политической арены (один уникальный текст в записи А. Григорьева повествует о том, как Добрыня в минуту опасности посылает отцу письмо «с буйными ветрами», а тот скорбит, что ничем не может сыну помочь. — Гр. Т. 1. № 87). Становится понятно и то, почему былины наделяют Добрыню особым «вежеством»: высокой культурой поведения, различными знаниями и умениями, дипломатическим тактом, политическим кругозором, — это тоже указывает на кровную принадлежность Добрыни к высшим социальным слоям Древней Руси («У Алеши вежество нерождённое», а «У Добрыни вежество рождённое и учёное». — КД. № 24). Наконец, объясняется, почему образ Добрыни в былинах окрашен не совсем обычным для этого фольклорного жанра трагическим психологизмом (Рыбн. Т. 1. № 27).

* * *

Но для былинных реконструкций древлянская гипотеза могла бы оказаться решающей лишь в том случае, если бы и в самих былинах нашлись какие-либо указания на «древлянский след». Однако в подавляющем большинстве вариантов сюжета выражен взгляд на отца Добрыни как на уроженца Рязани Никиту Романовича, скончавшегося до (в других вариантах — сразу после) рождения сына. Происхождение этого взгляда, по общему мнению, позднее: оно связано с существованием на Рязанщине самостоятельного круга преданий «о Добрыне и Володе»,⁸¹ восходящих, видимо, ко временам походов князя Владимира и его воеводы Добрыни на волжских болгар и отраженных в соответствующей рязанской топонимике (остров Добрыня, деревня Добрынь, село Добрыничи и др.).⁸² Этот круг преданий рано или поздно должен был закрепиться в письменной традиции, что и произошло в XV в., когда в летописях впервые стал упоминаться «Добрыня Рязанич».⁸³ А отчество Добрыни — Никитич — позволило чуть позже отождествить отца богатыря с популярным в песнях об Иване Грозном боярином Никитой Романовичем, который имел своим прототипом реально существовавшего в XVI в. Никиту Романовича Юрьева — шурина Ивана Грозного, владевшего обширными поместьями в Рязанской земле.

Единственное отступление от поздней рязанской версии находим в трех сибирских былинах, указывающих на еще одно помимо традиционной Рязани место происхождения отца Добрыни — на некую Новотор-землю (РЭПСидВ. № 13, 15, 16). Эта загадочная земля и проливает на проблему дополнительный свет. Дело в том, что зафиксированные собирателями и публикаторами особенности употребления топонима «Новотор-земля» (сосуществование его наряду с Рязанью, диалектное произношение «земле» как «жемле», отсутствие предлога во фразе «Жил

⁸¹ Мансуров А. А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1929. Вып. 2. С. 17, 24.

⁸² Семенов В. П. Россия: Полное географическое описание. СПб., 1902. Т. II. С. 459, 559.

⁸³ Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Примечания // Добрыня Никитич и Алеша Попович. М., 1974. С. 341.

Микита Новотор-земле») позволяют усматривать в нем результат сознательной замены сказителями выражения, переставшего быть понятным. А первоначальную форму выражения подсказывает былиноведческий глоссарий, содержащий в себе определение «Новоторженин» как характеристику былинного персонажа по месту его происхождения. Новоторженин встречается в новгородских былинах о Василии Буслаеве (Онч. № 88) и в казацких песнях о Соколе-корабле⁸⁴: в первых это некий Костя (имя, отсылающее к летописному сыну Добрыни Константину-Коснятину), а во вторых — сотоварищ Ильи Муромца и Добрыни. В обоих случаях данное прозвище означает человека родом из Нового Торжка (см. также данные В. Чивилихина о том, что жителей Нового Торжка звали прежде новоторами⁸⁵).

Находившийся в Деревской пятине Новгородской земли «Новый Торжок в глухой древности (по свидетельству одного из списков жития Ефрема Новоторжского, Погодинский список № 718) назывался Коростенём».⁸⁶ А это значит, что былинная отсылка к Новому Торжку может рассматриваться как прямое указание на опосредованную былинную память о начальных корнях исторического Добрыни. Такую опосредованную память легко усмотреть в топонимике Новгородской земли, перенесенной историческим Добрыней во времена его новгородского посадничества с южной родины на север: Деревская пятинка; село Коростынь вблизи Старой Руссы; Коростень, или будущий Новый Торжок, — на южной оконечности Деревской пятины.

* * *

Данное свидетельство в пользу связи былинного Добрыни с летописным чрезвычайно важно: оно открывает перспективу для проведения целого ряда взаимопроверяемых импликаций.

Проверка первая: если летописные реконструкции позволяют отождествить былинного Добрыню с его историческим прототипом, то логика этих же реконструкций должна объяснить и то, почему никого из исторических лиц того же времени, кроме Добрыни и Владимира, былины по имени не запомнили. Объясняет она это? Да, объясняет. Ведь если смысл политических событий, участниками которых являлись отец Добрыни и он сам, заключался в противостоянии местной княжеской династии пришлым Рюриковичам и если точка зрения создателей былины — это точка зрения, выражающая интересы местной династии, то и неудивительно, что в центре внимания былинных сюжетов находятся представители последней — Добрыня и его племянник Владимир (об отце Добрыни см. ниже).

Проверка вторая: если былинный Добрыня имеет прямое отношение к Добрыне летописных реконструкций, то логика эпического образотворчества должна объяснять и тот факт, что в роли эпического противника Добрыни выступает не конкретное историческое лицо того времени, а фантастическое существо — Змей. Объясняет она это? Да, объясняет. Ведь если смысл вышеуказанных политических событий заключался в противостоянии «своих» «чужим» и если логика эпического образотворчества изначально строится на основе наделения «чужих» резко отрицательными, «демоническими» характеристиками,⁸⁷ то вполне естественно, что в роли противников былинных героев выступают персонажи типа Змея, Идолища, Тугарина и т. п.

Проверка третья: если былинный Змей — это символическое изображение какого-то реального политического противника Добрыни, то должно существовать объяснение и тому факту, что в ряде текстов речь идет не о Змее, а о Змеё. Существует ли такое объяснение? Да, существует. Ведь если исторический Добрыня — это потомственный древлянский князь, утративший в силу превратностей войны с Киевом свои наследственные княжеские права, и если главный враг историче-

⁸⁴ Сахаров И. П. Сказания русского народа. СПб., 1841. Т. I, кн. 3. С. 236.

⁸⁵ Чивилихин В. Память. Л., 1983. Кн. 2. С. 234.

⁸⁶ Шахматов А. А. История русского летописания. С. 130.

⁸⁷ Протт В. Я. Русский героический эпос. С. 35; МНМ. Т. 2. С. 664—665.

ского Добрыни — это человек, лишивший его княжеских прав, то им, согласно летописной хронологии, могла быть только княгиня Ольга. Именно она осуществляла после победы над древлянами всю полноту власти в Древней Руси, и именно ее княжением датируется процесс перерождения автохтонных князей Восточной Европы в простое боярство (так, согласно текстам русских договоров с греками, при Олеге Вещем на Руси еще имелись и другие «светлые князья»; при Игоре Рюриковиче вместо «светлых князей» появляется «всякое княжьё», а при Святославе, правившем после своей матери Ольги, нет уже и «княжьа»⁸⁸).

Проверка четвертая: если под личиной былинной Змеи действительно изображена княгиня Ольга и если этот ее образ не случаен, а оправдан общественным мнением эпохи (см. ниже), то и в других былинных сюжетах с участием Добрыни роль его главного эпического противника должна была бы выполнять женщина, наделенная «змеиными» характеристиками. Наблюдается ли такая картина? Да, наблюдается. Во-первых, это Маринка, змеиная природа которой хотя и не слишком очевидна из-за позднейших наслоений, связанных с личностью Марины Мнишек (эти наслоения подробно исследовал В. Ф. Миллер в своих очерках об отголосках Смутного времени в былинах⁸⁹), но тем не менее вполне восстанавливается как из самих былинных текстов (в доме Маринки живет ее любовник Змей, которого Добрыня ранит стрелой из лука), так и из древнейших форм имени (Марана = Марена = Морена), часто использовавшихся для обозначения змеи в заговорах.⁹⁰ Во-вторых, это некая баба Горынинка, имя которой содержит одновременные указания и на связь со сказочным Змеем (Горыныч), и на связь с Киевом (по Ф. И. Буслаеву, ссылающемуся на материалы древнерусской письменности, слово «горыня» синонимично слову «киевлянин»⁹¹).

Проверка пятая. Если былинная Змея — это действительно княгиня Ольга, то предположительно должны существовать и другие источники фольклорной информации, постулирующие тождество Ольги и Змеи. Существуют ли такие источники? Да, существуют. Это два южнорусских заговора от укуса змей, в одном из которых повелительница змей названа царицей Вольгой (вариант: Оленой)⁹², а в другом — украинизированно — Вильгой.⁹³ Оба источника интересны тем, что воспроизводят летописную специфику произношения имени Ольги (Вольга, в малорусской огласовке Вильга), а один из них сохраняет и христианское имя Ольги — Елена, в малорусской огласовке Олена (эта же огласовка сохранена в ПВЛ под 955 г. и в Памяти и похвале Иакова Мниха⁹⁴).

Проверка шестая: если Змея — это древнейший былинный образ, а Змей — вторичный, то правильность такого допущения должна подтверждаться соответствующим текстологическим анализом. Подтверждается ли она? Да, самый общий обзор былинного материала показывает, что «в большинстве текстов богатырь сражается со змеей, а не со змеем».⁹⁵ Если же говорить о конкретной статистике, то в новейших, максимально полных изданиях текстов Печоры и Мезени (а это районы с традицией, очень мало поврежденной позднейшими влияниями) персонажи женского пола решительно преобладают. Здесь на семнадцать полных текстов приходится одиннадцать, указывающих на Змею или Змеишо женского пола (Бв25т. Т. 1. № 10—12, 15; Т. 3. № 8, 10—11, 13—14, 19—20), и только шесть — на Змеишо, неопределимое в половом отношении или же совмещающее в себе признаки обоих полов (Бв25т. Т. 3. № 9, 12, 15, 16, 17, 18).

⁸⁸ Геденов С. А. Варяги и Русь. М., 2004. С. 150—151.

⁸⁹ Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности. М., 1910. Т. II. С. 265—358.

⁹⁰ Иванов В. В., Топоров В. Н. Инвариант и трансформация в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору. М., 1975. С. 58—70.

⁹¹ Буслаев Ф. И. Сравнительно-критические наблюдения... С. 222.

⁹² Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876. С. 29—30.

⁹³ Комаров М. Нова збирка народних малоруських приказок, прислів'їв, помовок, загадок и заговлянь. Одесса, 1890. С. 107.

⁹⁴ Зимин А. А. Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку // Краткие сообщения Института славяноведения. М., 1963. Вып. 37. С. 67—72.

⁹⁵ Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Примечания // Добрыня Никитич и Алеша Попович. С. 373.

* * *

Весомым аргументом в пользу тождества «Ольга = Змея» может служить и следующее совпадение. Подобно тому как змеборческая мифологема включает в себя момент похищения Змеем девушки, так и в реконструируемой здесь исторической ситуации Ольга после победы над древлянским князем берет в заложницы его дочь Малушу (основывая на этом заложничестве свои далеко идущие политические расчеты). Как показал Шахматов, совпадение далеко не внешнее: одно из имен похищенной княжеской родственницы в былине — Марфида, в котором Шахматов увидел просторечное искажение полного имени Малуши — Малфредь.⁹⁶ А в пользу его догадки говорит отличие мифологической логики от былинной: в то время как в мифологеме герой — освободитель похищенной Змеем царской дочери обязательно женится на ней, в былине Добрыня неизменно (исключения крайне редки) отказывается от женитьбы. Исследователей всегда смущало это отклонение от мифологического канона.⁹⁷ Но повод для смущения отпадает сам собой, если речь в былине действительно идет о сестре Добрыни.

Между прочим, догадка Шахматова о настоящем имени Малуши, равно как и гипотезы Прозоровского и Буслаева, могут быть подкреплены следующим соображением. Если в пору невзгод древлянской династии (то есть в середине X в.) мы встречаем в летописях уничижительные формы имен «Мал» («Малко») и «Малуша» («Малка»), то в пору ее реабилитации в лице сына Малуши князя Владимира Святославича мы видим в летописях уже «Малфреда Сильного» и «Малфредь» (Малфред Сильный упоминается в Степенной книге Царского родословия, в главе «О храбрых мужах», в числе главнейших богатырей Владимира,⁹⁸ а о смерти Малфреда сообщает ПВЛ под 1000 г. от Р. X.).

Малфред — это славянизированное Амалафрид, имя одной из генеалогических ветвей, восходящей к остготскому династическому имени Амал (Амалафридой звали сестру короля остготов Теодориха, правившего в конце V — начале VI в. в Северной Италии, а Амалафридом — внука Амалафриды⁹⁹). А готский характер имени выводит нас на два дополнительных подтверждения древлянской гипотезы. Подтверждение первое: в письме византийского императора Цимисхия Святославу, сыну князя Игоря, убитого древлянским князем Малом, говорится, что его (Игоря) «убили германцы».¹⁰⁰ Но если Цимисхий знал, что полное имя Мала звучало как Малфред, то в своем указании на германцев он и должен был отталкиваться от германоязычной формы имени, аналогичной формам «Альфред», «Готфрид», «Зигфрид» и др. Подтверждение второе: если Малфред — это не личное, а династическое имя, то становится понятно, почему былинное отчество Добрыни звучит как Никитич, — оно производно от личного имени добрыниного отца (Нискиня → Никита), в то время как на ношение династического имени Добрыня, будучи лишен, по гипотезе Прозоровского, княжеского звания, уже не имел права (другая причина утраты права на родовое имя могла заключаться в традиции его преимущественного наследования по женской линии, поскольку представительница таковой в данном случае имела).

Помогает имя Малфред высветить и место в былинной памяти Добрыниного отца. В летописях оно, как видим, обнаруживает свойства *запретного* (замененного на упомянутые вскользь и якобы различные имена Мал и Малко). А в былинах мотив запрета на имя тесно связан с образом Ильи Муромца: «А хто поменёт у нас да Илью Муромця — А да такового у нас да нонь судом судить, А судом где судить, да живому не быть — Оци ясны вымать ёго косицами, Да язык бы тянуть да ёго теменём!» (Бв25т. Т. 3. № 75). В данных строках, судя по всему, отражен запрет на

⁹⁶ Шахматов А. А. История русского летописания. С. 256.

⁹⁷ Проп В. Я. Русский героический эпос. С. 200—203.

⁹⁸ ПСРЛ. Т. 21, ч. I. С. 125—126.

⁹⁹ Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950. С. 84, 117, 460.

¹⁰⁰ Чертков А. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967—971 гг. М., 1943. С. 37—38, 194.

первичное имя богатыря, потому что Илья — имя из христианского именованья, то есть вторичное, полученное при крещении. Кроме того, с мотивом запрета на имя созвучны и те характерные для сюжетов об Илье былинные мотивы, где он оказывается в заключении (сюжет «Илья Муромец и Калин-царь»), подчеркивает свое «внезаконное» положение («Уж давно нам отказано от Киева» — Кир. Вып. IV. С. 40—43) или стремится быть неузнанным (называет себя Никитой Заолешанином. — Там же. С. 47—51; меняется платьем с каликой переходим Никитой Карачевцем, то есть выдает себя за него¹⁰¹) и т. д. И конечно же, едва ли случайно, что в «Ядре российской истории» А. Я. Хилкова (А. И. Манкеева) перечень богатырей Владимира, заимствованный из Степенной книги Царского родословия, отличается от исходного тем единственным исключением, что Малфред Сильный в нем заменен на Илью Муромца.¹⁰²

Все такие смысловые переключки лишней раз убеждают в принципиальной неустранимости из сферы летописно-былинных реконструкций древлянской гипотезы. А применительно к нашему сюжету они заставляют более внимательно присмотреться к родственным отношениям былинных персонажей. Отношения же таковы: в большинстве вариантов сюжета в роли похищенной Змеем (Змеей) женщины выступает племянница князя Владимира, что объяснимо из древнерусского «племянник=родственник». Но есть варианты и с более конкретными указаниями на степень родства, где похищенная женщина выступает в роли сестры князя Владимира (КД. № 48; Гр. Т. 1. № 87), его жены (РЭПСидВ. № 9) и тетки Добрыни (КД. № 48; ФРУ. № 96), а сам Владимир — в роли Добрыниного дяди (КД. № 48).

Варианты с женой Владимира и теткой Добрыни легко объяснимы в свете позднейшей версии о рязанском происхождении Добрыни от Никиты Романовича Юрьева, шурина Ивана Грозного. По этой версии, сестра Никиты Романовича и жена Ивана Грозного (в былине — жена Владимира княгиня Апраксия) действительно должна была считаться тетей Добрыни. Причем в качестве княжеской жены она и самого князя превращала в Добрыниного дядю по свойству. А вот варианты с сестрой могут быть объяснены только в свете древлянской гипотезы, по которой сестра несостоявшегося князя Добрыни неизбежно должна была превратиться со временем в сестру условного, общеэпического князя Владимира (исторический прототип которого в рассматриваемый период еще не родился).

* * *

Еще одним косвенным аргументом в пользу тождества «Ольга=Змея» может служить место развертывания сюжета (Пучай-река), сопоставляемое обычно с киевским притоком Днепра рекой Почайной. Дело в том, что летопись приписывает Ольге слова, переданные греческому императору через его киевских послов уже после Ольгиного возвращения из Константинополя: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе (дары. — С. Г.)» (ПВЛ. 955 г.; Суд — бухта Золотой Рог в Константинополе). В этих словах отражен образ Почайны как «парадного входа» во владения Ольги. Таковой эта река в действительности и была, потому что представляла собой удобную гавань для посещавших Киев многочисленных торговых судов. Но точно таким же «парадным входом» во владения Змеи представлена Пучай-река, по наблюдениям исследователей, и в былине («Она засасывает попавшего в нее, приводит его в пещеру змея»¹⁰³).

В пользу гипотезы о тождестве Ольги со Змеей говорит и то, что вообще былинному языку не чуждо конструирование образов, совмещающих в себе змеиную и женскую природы. Ярким примером такого рода является, как известно, образ женщины-оборотня из былины «Михайло Потык» — Марья Лебеди Белой, обла-

¹⁰¹ ПЛДР. М., 1988. XVII в., кн. 1. С. 129.

¹⁰² Хилков А. Я. (Манкеев А. И.). Ядро российской истории. М., 1784. С. 53.

¹⁰³ Протт В. Я. Русский героический эпос. С. 181.

давшей способностью превращаться в змею. На типологическую связь этого образа с образом Змеи из былины о Добрыне указывал еще П. А. Бессонов в заметке к 4-му выпуску песен П. В. Киреевского. Кстати, так ли случайно уже в новейшее время Б. А. Рыбаков датировал момент возникновения сюжета «Михайло Потык» временем княжения Ольги?¹⁰⁴

Вопрос о причинах ассоциирования Ольги со Змеей пока что не может быть решен однозначно. Возможно, ответ на него следует искать в данных о происхождении княгини Ольги. Правда, на этот счет существует масса версий, в которых Ольга называется то болгарской княжной,¹⁰⁵ то дочерью половецкого князя,¹⁰⁶ то сестрой Аскольда и Дира,¹⁰⁷ то правнучкой Гостомысла.¹⁰⁸ Однако есть подозрение, что смысл всех перечисленных версий состоит в приписывании Ольге знатности — в противовес непрестижной версии, где зафиксировано простое происхождение княгини. Не исключено, что сама же княгиня и была главным распространителем дезинформации о своем аристократическом происхождении (как и легенды об «Ольге-перевозчице», которая должна была — в контексте представлений того времени — повысить ее «рейтинг»).

Согласно непрестижной версии, известной в своей наиболее подробной записи по Степенной книге Царского родословия, Ольга родилась в Выбутской веси под Изборском, то есть на крайнем западе границы расселения кривичей. Кривичи же представляли собой в X в. ту часть восточнославянского племени, этническая специфика которой, унаследованная позднее белорусами, определялась ее смешением с соседним прибалтийским элементом (с летто-литовскими племенами).¹⁰⁹ Это видно прежде всего из археологических данных — из вещевого погребального инвентаря кривичей, аналогичного такому же инвентарю в прибалтийских археологических культурах.¹¹⁰ Основная его особенность — проникнутость художественными мотивами на тему «змей» — давно уже сопоставляется с культом змеи у прибалтийских народов,¹¹¹ как и у соседствовавших с ними поляков и белорусов. Особое отношение к змеям в низовой народной жизни Великого княжества Литовского (куда входили все западнорусские земли) подробно зафиксировано хронистами Стрыйковским, Иеронимом Пражским, Генрихом Латвийским, Кроммером. Последний писал, что здесь «дозволяли ужам и змеям селиться в домах, под печкою, чтили их как пенатов и приносили им в дар молоко, сыр, яйца и кур (...); наносить какой бы то ни было вред этим гадам и убивать их было строго воспрещено».¹¹² Несомненно, что в X в. внешние проявления культа змеи носили здесь еще более ярко выраженный и многообразный характер. И несомненно, что они должны были производить немалое впечатление на поднепровских славян в связи с той ролью, которую играла в их общественно-политической жизни супруга великого князя Игоря (как и ее окружение). Во всяком случае, уже одной лишь зооморфной эмблематики, обычной на символах власти у древних славян¹¹³ и, конечно же, входившей в родовую геральдику княгини Ольги, могло с избытком

¹⁰⁴ Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. С. 393—411.

¹⁰⁵ Леонид, архимандрит. Откуда родом была св. великая княгиня русская Ольга? // Русская старина. 1888. Июль—сент. С. 215—224.

¹⁰⁶ Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 179—180.

¹⁰⁷ Халанский М. Г. К истории поэтических сказаний об Олеге Вещем // ЖМНП. 1903. Ч. СССЛ (ноябрь). С. 3.

¹⁰⁸ Хилков А. Я. (Манкеев А. И.). Ядро российской истории. С. 32.

¹⁰⁹ Седов В. В. К происхождению белорусов // Советская этнография. 1967. № 2. С. 114—116.

¹¹⁰ Там же. С. 116—119; Древности Северо-Западного края. СПб., 1893. Т. 1, вып. 2: Люцинский могильник (Материалы по археологии России; № 14).

¹¹¹ Гуревич Ф. Д. 1) Украшения со звериными головами из прибалтийских могильников (к вопросу о культе змеи в Прибалтике): Доклад на заседании Сектора славяно-русской археологии 23 нояб. 1947 г. // Краткие сообщения Института материальной культуры. М.; Л., 1947. Т. 15; 2) Древние верования народов Прибалтики по данным «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского // Советская этнография. 1948. № 4.

¹¹² Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 2. С. 633—634.

¹¹³ Шафарик П. И. Славянские древности. М., 1837. Т. II, кн. III. С. 112—113.

хватить для того, чтобы метафорически перенести этот знак ее происхождения на саму личность великой княгини.

Более правдоподобна, впрочем, та точка зрения на культ змеи у прибалтийских народов, согласно которой в его основе лежала не этническая, а культурно-историческая специфика, связанная с общими в прошлом для литовских и восточнославянских язычников традициями, особенно долго сохранявшимися в Великом княжестве Литовском (принявшем крещение лишь в 1387 г.). Этнографические материалы о восточных славянах, а также их обрядовый фольклор прямо говорят о «змеином царе» как о прежнем объекте поклонения;¹¹⁴ змей связывался обычно с плодородием и водной стихией, хозяином которой он выступал.¹¹⁵ В общественном восточнославянском сознании рубежа I—II тысячелетий н. э., как и много позднее, змей — это охранитель дома и посевов;¹¹⁶ считалось, что у каждого села, у каждой общины есть свой змей-защитник.¹¹⁷ А змей — защитник общины, разросшейся до размеров государства, — это уже змей — защитник самого государства, его повелитель и владыка, функции которого символически переносятся и на реального политического вождя («змеиная» символика как индикатор верховной власти присутствует в очень многих древних культурах, от Египта до Китая).

В свете таких данных «змеиная» характеристика любого исторического персонажа, сохраняемая фольклорной памятью, должна рассматриваться одновременно и как указывающая на его высокий (с языческой точки зрения) социальный статус, и как обозначающая резко отрицательное (с позднейших христианских позиций) отношение к нему. Причем историческое преобладание должна была, разумеется, получать именно вторая характеристика.

Последнее соображение тем весомее, что ни народ, ни коренные князья восточных славян не имели ни малейших причин восхищаться великой княгиней, разорившей во время своего правления древлян и обложившей тяжелой данью всю остальную Русскую землю. Не нужно забывать, что и в летописях имеются свидетельства натынутых отношений Ольги с подданными. Ее собственные слова в ПВЛ (955 г.): «Людие мои погани (...) да бы мя Бог соблюл от всякого зла». Вспомним также записанные в XIX в. П. И. Якушкиным на Псковщине легенды об Ольге, в которых ее личность характеризуется далеко не положительным образом («Да и много она князей перевела: которого загубит (...) которого посадит в такое место...»¹¹⁸).

Вспомним, наконец, и о загадочном золотом медальоне, найденном в 1821 г. в окрестностях г. Чернигова и вызвавшем тогда же громкую научную полемику в печати.¹¹⁹ На одной стороне медальона, датированного эпохой домонгольской Киевской Руси, изображен архангел Михаил, на другом — змеевидное существо (рис. 1), о котором президент Академии художеств А. И. Оленин писал министру народного просвещения: «...должно заметить, что голова, окруженная змеями, есть голова женская: груди ее это доказывают...»¹²⁰

Среди множества других аналогичных предметов,¹²¹ получивших в дальнейшем название «змеевиков»,¹²² черниговский медальон остается самым необычным.

¹¹⁴ Сд. Т. 2. С. 330; РФ. СПб., 1996. Вып. 29. С. 135.

¹¹⁵ МНМ. Т. 1. С. 394.

¹¹⁶ Сд. Т. 2. С. 331.

¹¹⁷ Там же.

¹¹⁸ Якушкин П. Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний. СПб., 1860. С. 155—157.

¹¹⁹ Крузе, проф. Объяснение черниговской медали по двум надписям, вновь найденным в Готе, и по другим известным до сего времени и относящимся к тому же роду // ЖМНП. 1836. Ч. IX (январь—март). С. 336—354; Каченовский М. Т. Разыскания по поводу старинной золотой медали, недавно открытой // Вестник Европы. 1822. Февр. С. 285—289; Март. С. 45—51; Апр. С. 118—128; Май. С. 158; Июль—авг. С. 181—192; Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1997. Т. 1. Кн. 2. С. 478—480.

¹²⁰ О черниговской медали (от президента Имп. Санкт-Петербургской академии художеств к г. министру народного просвещения // ЖМНП. 1836. Ч. X (апр.). С. 40. В этом же номере журнала, в его начале, вклейка с прорисовками медали.

¹²¹ Натирский Г. Описание и объяснение древней медали // ЖМНП. 1836. Ч. IX (январь—март). С. 355—359; Эрдман. Объяснение еще одной древней медали // Там же. С. 360—363.

¹²² Николаева Т. В., Чернецов А. В. Древнерусские амулеты-змеевики. М., 1991.

Во-первых, он уникален тем, что надписи на нем сделаны на трех языках: на греческом, на славянском и на каком-то плохо читаемом.¹²³ (Третью надпись «нельзя толковать по известным правилам ученой критики; <...> ее может прочесть разве какой-нибудь волшебник, посвященный в таинства магии»¹²⁴). Во-вторых, фантастическое существо на черниговском медальоне явно не тождественно горгоне Медузе других змеевиков, что позволяет рассматривать медальон не как рядовой талисман или оберег, а как предмет хотя и того же функционального назначения, но тем не менее сохраняющий в себе признаки изделия, выполненного по конкретному поводу и специальному заказу.



Золотой черниговский змеевик

В связи с былинной интерпретацией образа Ольги как Змеи черниговский медальон заслуживает, несомненно, самого пристального внимания и дальнейшего изучения. Тем более что его славянская надпись «Господи, помоги рабу своему Василию» позволяет соотнести медальон не только с эпохой Владимира Мономаха (мнение Б. А. Рыбакова),¹²⁵ но и с более ранней эпохой Ольгиного внука Владимира Святого, тоже в крещении Василия.

* * *

Конечно, отождествление Ольги со Змеей вступает в резкое противоречие с летописной характеристикой Ольги как «денницы перед солнцем» и «зари перед рассветом» (ПВЛ, 969 г.). Тем не менее если рассматривать все приведенные факты в их совокупности и взаимосвязи, то реконструируемый здесь образ великой княгини начнет казаться не таким уж неожиданным. И прежде всего станет понятно, почему логика сюжета «Добрыня и Змей» не вполне соответствует логике классического змееборства, но зато очевидным образом перекликается с логикой других сюжетов с участием Добрыни, а также с логикой летописно-былинных реконструкций Д. И. Прозоровского, Ф. И. Буслаева и А. А. Шахматова.

Так, из былинных текстов на сюжет «Добрыня и Маринка» известно, что в юности Добрыне пришлось пережить времена унижений и рабской зависимо-

¹²³ Крузе, проф. Объяснение черниговской медали... С. 338—339.

¹²⁴ Каченовский М. Т. Разыскания... // Вестник Европы. 1822. Июль—авг. С. 189.

¹²⁵ Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI—XIV веков. М., 1964. С. 20.

сти, а в текстах с участием бабы Горынинки противостояние Добрыни этой бабе описывается как происходящее не в пользу Добрыни («И дерется он с бабой Горынинкой — едва душа ево в теле полуднует» — КД. № 50). Наибольшее же количество исторической информации дает анализ сюжета «Добрыня и Змей». В частности, необычайно емким по информативности моментом является здесь мотив «великих заповедей» или «великих записей» («Ай не съезжаться, не слетаться нам в чистом поле, Ай не делать бою-драки-кроволития» — Аст. Т. 2. С. 196). В прямой связи с этим мотивом стоит и другой нередкий для данного сюжета мотив — установление побратимских (братско-сестринских) отношений между Добрыней и Змеей («Я тебе сестра да буду меньшая» — Гф. Т. 1. № 5). Дело в том, что в обоих мотивах можно усматривать отражение разных сторон одного и того же исторического события — заключения политического «соглашения о мире и дружбе» между Добрыней и Ольгой. В самом деле: если противостояние Добрыни и Ольги наполнялось политико-династическим смыслом, то оно должно было быть урегулировано посредством какого-то договора. Напряженность отношений между Киевом и древлянами могла быть снята лишь с учетом законных прав местной древлянской династии, и Ольга обязана была с этим считаться. Естественно, она не могла признать наследственных княжеских прав Добрыни, потому что это обесценило бы ее военную победу над Коростенем; но признание прав Малуши — если бы та была отдана замуж за Ольгиного сына Святослава — оказывалось очень удобной формой политического компромисса.

То, что Ольга пошла на этот компромисс, доказывается всем последующим ходом исторической действительности, и в первую очередь фактическим равноправием детей Святослава — Ярополка и Олега — с сыном Святослава от Малуши Владимиром. И эта же историческая действительность указывает на цену компромисса: такой ценой мог быть только лишь отказ самого Добрыни от положенного ему по праву рождения княжеского ранга, отказ от возможных в будущем претензий на княжеский стол.

Заключение «договора о мире и дружбе» очень хорошо объясняет, почему во время своего первого столкновения со Змеей Добрыня безоружен, или почему он иногда получает от Змеи какие-то дары, или почему в некоторых версиях вообще отсутствует столкновение как таковое (все эти мотивы тоже ставят обычно исследователей в тупик своим несоответствием логике классического змеборства). А гипотеза о вынужденном отказе Добрыни от своего потомственного княжеского звания позволяет понять, почему в ряде случаев Добрыню страшит неизбежность встречи со Змеей, а в других сюжетах с участием антагониста женского пола (Горынинка, Маринка) эта встреча изображается как попрание личного достоинства Добрыни (Марк. № 81, 94; КД. № 9; Гф. Т. 2. № 163). Не потому ли сквозным для онежских сюжетов нашей былины является мотив «плача» Добрыни: «Ты на что меня, несчастного, спородила»? Независимо от того, насколько древен этот мотив, в нем гениально угадан и опоэтизирован трагизм судьбы несостоявшегося древлянского князя.

* * *

Но если предлагаемая интерпретация сюжета верна, то должен быть объяснен и такой до сих пор не разгаданный его мотив, как купание Добрыни в Пучай-реке. Почему столкновение Добрыни со Змеей всегда сопровождается совершенно неуместным с точки зрения логики классического змеборства купанием?

Ответ находим в представлениях, связанных с обрядовой практикой купания. Такие представления, достаточно универсальные, действительно существуют; суть их заключается в том, что во время тех или иных календарных праздников какого-либо человека, условно наделяемого статусом и атрибутами «царя», в завершение обряда заставляют войти в воду (иногда бросают в нее), чем символизируется развенчание этого человека как носителя власти. На существование таких представлений у восточных славян указывают данные не только этнографии (купальская

обрядность), но и древнерусской письменности.¹²⁶ В широком же культурно-историческом плане обоснованием таких представлений служат материалы, собранные Дж. Фрэзером. В них дается подробное описание условий, влекущих за собою низложение так называемого царя природы (символической фигуры, генетически связанной с истоками института верховной власти и выполняющей функцию магического гаранта жизнеспособности и благополучия первобытного социума); согласно данным Фрэзера, низложение почти всегда включает в себя момент купания.¹²⁷ У этого же автора находим указание и на то, что первобытному правителю предписывается запрет на вхождение в некоторые реки: если он нарушает предписание, то лишается своего звания.

В отечественном эпосоведении до сих пор господствует мнение, что привлекать данные вроде тех, что собраны в труде Фрэзера, для объяснения темных мест былин означает неоправданно архаизировать эпоху Древней Руси. Мнение это восходит к существовавшей в историко-материалистической методологии недооценке роли ранних (мифо-религиозных) форм мышления в истории культуры: эти формы считались не более чем «шумовым фоном», сопутствующим развитию социально-экономического процесса на его ранней стадии. Сегодня вульгарное понимание сущности мифов считается преодоленным этапом и набирает силу представление, согласно которому даже современный исторический процесс определяется далеко не исчерпанным мифологическим потенциалом. Однако практических выводов отсюда ни в плане методологии познания, ни тем более в прикладных планах не сделано до сих пор. Потому-то и оказывается зачастую не востребованной интереснейшая фактология узкоспециального характера.

Вот пример такой не востребованности: оказывается, в древнерусских текстах можно найти указание не только на то, что на Руси были реки, вхождение в воды которых символизировало утрату высокого статуса и властных полномочий, но и на то, что в числе таких рек значилась как раз интересующая нас Почайна. Такое указание находим в эпизоде из «Сказания об Александре Поповиче», обнаруженное сравнительно недавно в составе одного из документов новгородского происхождения: Александр заставляет побежденного им воеводу трижды окунуться в Почайну и затем отдает ему приказания как своему слуге.¹²⁸

Уже только этот эпизод, сопоставленный с материалами мировой этнографии, позволяет понять купание Добрыни как пережиточное по форме, но все еще сохранявшее по традиции свою юридическую силу оформление отказа Добрыни от своих наследственных княжеских прав. Для каждой эпохи, как известно, существуют свои способы ратификации договоров, а примеры того, что политические акты в древние времена скреплялись посредством использования архаических обрядов, хорошо известны исторической науке. В данном случае был использован обряд купания-низложения: входя в воды Почайны, Добрыня как бы во всеуслышание признавал, что навеки отказывается от своего прежнего независимого княжеского статуса, что отныне он не более чем подданный киевской княгини Ольги и ее сына, князя Святослава.

Между прочим, такая интерпретация купания объясняет и то, почему река, в которую входит Добрыня, изображается в былинах как огненная («Эта река испускает дым, искры и пламя»¹²⁹). Дело в том, что использование архаических обрядов при оформлении политических актов предполагает по умолчанию и приурочивание этих актов к соответствующей календарной обрядности. В нашем случае акт низложения Добрыни должен был приурочиваться к включавшему в себя низложение символического «царя» купальскому обряду. А в купальский обряд входит

¹²⁶ Южнорусское Житие св. Владимира // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Киев, 1888. Кн. II. С. 42—43.

¹²⁷ Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 128—130, 169.

¹²⁸ Кюсс Б. М. Новый памятник русского эпоса в записи XVI века // История СССР. 1968. № 3. С. 151—157.

¹²⁹ Протт В. Я. Русский героический эпос. С. 191.

и широкое использование огненной символики¹³⁰ — вплоть до пускания огней по воде.¹³¹

* * *

Мотив купания Добрыни постоянно сопровождается эпизодом с «шапкой земли греческой», которую Добрыне приходится использовать — за неимением под рукой оружия — в качестве средства борьбы со Змеей. По поводу данного эпизода выдвигалось немало гипотез; основная из них указывает на шапку как на обрядовый головной убор дохристианских времен. Имеются многочисленные описания этого убора в связи с архаичным институтом «царя природы» у центральноевропейских народов — их приводит Дж. Фрэзер. Особенно интересны такие описания в синтезирующем контексте низложения-купания: «В Нижней Баварии украшали листьями и цветами так называемого Пфингстля (...) На голову его надевали высокий остроконечный колпак с двумя отверстиями для глаз. Этот колпак украшали цветами водяных растений, а сверху водружали букет пионов. Его заворачивали в листья ольхи и орешника, а рукава сплетали из водяных растений. По обе стороны от Пфингстля, поддерживая его за руки, шествовали два мальчика. Они, подобно другим участникам процессии, несли обнаженные мечи. У каждого дома они делали остановку (...) а поселяне из укрытия неожиданно окатывали наряженного в листья парня водой. Когда его удавалось вымочить до нитки (...) Пфингстль по пояс входил в ручей, а кто-нибудь из мальчиков делал вид, что срубает ему голову».¹³²

Здесь налицо один из бесчисленных вариантов хорошо известного в этнографии сценария, по которому где-то в середине X в. вполне могло произойти ритуальное низложение молодого княжича Добрыни. Отдельные элементы этого сценария угадываются в плохо сохранившейся колымской записи былины: на Добрыню кричат, он прячется под «зелен-траву»; далее рассказчик сообщает, что, после того как Добрыня вошел в воду, его «омрачили».¹³³ На реликтовом диалекте русских обитателей Северо-Восточной Сибири слово «омарачивать» означает «превращать из одного состояния в другое путем колдовства»,¹³⁴ что достаточно точно воспроизводит логику обрядового низложения вождя. Вообще же плохое качество текстов такого рода легко объяснимо: сценарий низложения Добрыни, будучи по форме весьма архаичным даже для X в., должен был стать абсолютно непонятным уже спустя несколько поколений, — если учесть ту резкую смену культурной обстановки, которая произошла на Руси в конце X — в XI в. Неудивительно поэтому, что в большинстве былинных текстов смогли сохраниться лишь разрозненные детали обряда, смысла которых не понимали уже сами исполнители былин.

Точно так же разрозненные детали обряда уцелели в народных преданиях о княгине Ольге, записанных украинским этнографом Н. И. Коробкой в начале XX в. на бывшей древлянской земле (в Овручском уезде). И хотя содержание этих преданий не имеет ничего общего с содержанием былинного сюжета, в них тем не менее легко узнается картина обряда низложения вождя: 1) Ольга преследует врага; 2) окончательной победе над врагом предшествуют эпизоды его переодевания и купания в реке.¹³⁵ То обстоятельство, что эти эпизоды встроены здесь в общий контекст, соотносимый именно с Ольгой (время правления которой совпало

¹³⁰ *Потебня А. А.* О купальских огнях и сродных с ними представлениях. М., 1867; *Соколова В. К.* Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX — начала XX в. М., 1979. С. 228—255.

¹³¹ *Толстой Н. И.* Из славянских этнокультурных древностей // Символ в системе культуры. Тарту, 1987. С. 58 (ТЗС; № 21).

¹³² Там же. С. 282.

¹³³ *Венедиктов Г. Л.* Анадырские и колымские записи былин В. Г. Богораза // РФ. Л., 1987. Вып. 24. С. 150—151.

¹³⁴ *Чикачев А. Г.* Русские на Индигирке. Новосибирск, 1990. С. 155.

¹³⁵ *Коробка Н. И.* Сказания об урочищах Овручского уезда и былины о Вольге Святославиче // Известия ОРЯС. СПб., 1908. Т. XIII. С. 292—328.

с началом окончательного приведения древлян к покорности), служит лучшим доказательством правильности всей предложенной выше реконструкции былины. А то, что противником Ольги является в данном случае не Добрыня, лишний раз говорит о принадлежности эпизодов переодевания и купания к явлениям типологического порядка, то есть к обрядности.

И все же здесь возникает одно — кажущееся на первый взгляд неразрешимым — противоречие. Если купание и шапка — элементы обряда низложения Добрыни, то почему в тех текстах сюжета, где шапка упоминается, она надлена функцией не просто оружия, но оружия победоносного, — ведь специфика былинных текстов в том и состоит, что Добрыня побеждает Змею не обычным оружием, а именно «шапкой земли греческой»?

Косвенный свет на эту загадку проливают, возможно, исторические данные о назначении и функциях головного убора в древности. Известно, в частности, что у гето-фракийских племен в I тысячелетии н. э. существовала традиция, обязывавшая людей благородного сословия покрывать головы войлочными колпаками, чтобы тем самым отличаться от простоволосого плебса; аналогичные колпаки в римском быту служили знаком свободного состояния.¹³⁶ На этот же смысл головного убора указывает и общеевропейский этикет, предписывавший снимать шапку перед вышестоящими; исключение из правила допускалось только как очень высокая привилегия. И на этот же смысл головного убора указывает знаменитый «фригийский колпак», выполнявший во времена Великой французской революции функцию «символа свободы».

В свете таких данных ключевую роль «шапки земли греческой» в былинном сюжете можно объяснить только одним: содержание соглашения, заключенного между Добрыней и Ольгой, включало в себя не только пункт о низложении Добрыни, но и условие, по которому он сохранял за собою достаточно высокое социальное положение при дворе киевской княгини. О том, что древлянская партия власти настаивала на данном условии, говорит, возможно, былинный текст, по которому мать Добрыни наказывает ему ни в коем случае не снимать шапку во время купания.¹³⁷ А о согласии Ольги с таким условием, вероятно, сообщает другой былинный текст, по которому Добрыня получает шапку от своего противника.¹³⁸

Но если былинная «шапка» — это укорененный в мифо-религиозных архетипах коллективного сознания того времени атрибут власти и средство ее символической легитимации, то становится понятной и ее смысловая связь с «землей греческой». На протяжении всей второй половины I тысячелетия н. э. влияние Византийской империи на «варварскую» периферию, как западную, так и северную русскую, было всеобъемлющим, чему немало способствовали изощренные («пиаровские», сказали бы сегодня) управленческие технологии греческих императоров. В частности, последние, используя в собственных интересах специфику «варварского» мышления, сознательно завышали статус предметных атрибутов своей власти (царских одеяний и головных уборов греческого изготовления), и без того крайне высоко ценившихся «архонтами» соседних с империей племен и народов.¹³⁹

В этом плане дополнительный свет на вопрос о «шапке земли греческой» проливает статья А. А. Горелова.¹⁴⁰ Суть публикации — в указании на конкретно-историческую реалию, стоящую за нашим былинным символом, — на хранящийся в московской Оружейной палате шлем византийской работы, украшенный насечкой серебром и золотом, с поясным Деисусом по его нижнему ободу. Правда, датируется этот экспонат концом XIII в., но в работе говорится (со ссылкой на мнение историков византийского прикладного искусства), что он представляет собой

¹³⁶ Скржинская Е. Ч. Комментарии // Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 238—239.

¹³⁷ Шуб Т. А. Былины русских старожиллов низовьев реки Индигирки // РФ. М.; Л., 1956. Вып. 1. С. 218.

¹³⁸ Копержинский К. А. Былины Восточной Сибири // РФ. М.; Л., 1957. Вып. 2. С. 234.

¹³⁹ Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. 55, 339—340.

¹⁴⁰ Горелов А. А. «Шляпа земли греческой» в былинах // РЛ. 2002. № 1. С. 109—117.

не уникальное для греческого ремесла той эпохи изделие, а довольно типичный образец изготовлявшихся Византией предметов вооружения.¹⁴¹ Так что если похожие вещи изготовлялись греками и ранее XIII в. (в чем едва ли приходится сомневаться), то какая-то из них и вправду могла выполнять в дорюриковской династии восточнославянских князей легитимирующие функции, перенятые впоследствии другой «шапкой земли греческой» — шапкой Мономаха. Если же датировка неверна и шлем Оружейной палаты гораздо древнее XIII в., то он и сам вполне мог бы оказаться функциональным предшественником знаменитой реликвии московских царей. Ведь по «Сказанию о князьях Владимирских», последняя появляется на Руси во время княжения Владимира Мономаха (1113—1125 гг.), то есть именно тогда, когда редакция ПВЛ 1116—1118 гг. окончательно стирает следы летописной памяти о дорюриковских князьях.

«По интуиции, изумляющей своей точностью совпадения с былиной, — пишет А. А. Горелов, — художник В. М. Васнецов в картине „Три богатыря“ изобразил Добрыню Никитича именно в *шлеме* данного — *византийского* — *вида*».¹⁴²

Совпадение изумляет тем сильнее, что Васнецов изобразил в данном шлеме именно Добрыню — последнего представителя древлянской династии в Киевской Руси.

* * *

Конечный дипломатический успех этой династии зафиксирован Повестью временных лет, где Добрыня выступает (под 970 г.) знатным боярином при киевском дворе, оказывающим влияние на переговоры с новгородцами о присылке им князя из Киева. Этим успехом и объясняется, видимо, то обстоятельство, что трагический эпизод из биографии Добрыни былина переосмысляет как его победу. Ведь если считать брак Добрыниной сестры Малуши (Малфреды) с сыном Ольги Святославом результатом дипломатического маневра, призванного обеспечить мир между древлянами и Киевом, то нужно будет признать, что конечный политический выигрыш от этого маневра получила именно древлянская партия власти. То есть личное поражение Добрыни в его княжеских правах явилось необходимым условием спасения, а затем и реабилитации древлянской династии — по ее женской линии — в лице Владимира Святославича. А эмоциональным переживанием этой дипломатической победы и определилось общее оптимистическое звучание былинного сюжета.

Однако имелся и еще один повод для переосмысления трагического эпизода из биографии Добрыни как его победы. По мере того как подлинные исторические события, запечатленные символическим языком былины, забывались, а сам символический язык начинал постепенно приниматься за содержание былины (см. раздел «Вопросы теории»), она и сама становилась уже не действительной, но иллюзорной памятью о прошлом — облеченным в былинную ритмику рассказом на тему «борьбы героя с чудовищем». А это значит, что со временем сюжет должен был обогатиться еще одним смысловым планом — тем, который задавался фольклорной матрицей «змееборства» и который подчинял развитие сюжета неизбежному счастливому концу безотносительно к действительному ходу событий. Так на смену условной Змеё приходит вполне конкретный сказочный Змей, и так возникает двухчастная архитектоника сюжета.

Эта архитектоника — двукратность боя Добрыни со своим противником — всегда была для исследователей своего рода «камнем преткновения». Одни (в частности, Б. А. Рыбаков¹⁴³) объясняли ее как двухэтапность введения христианства на

¹⁴¹ Там же. С. 115.

¹⁴² Там же.

¹⁴³ Рыбаков Б. А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. С. 70.

Руси — в IX и X вв., а другие (В. Я. Пропп,¹⁴⁴ А. Н. Робинсон¹⁴⁵) — как двухэтапность формирования змеборческого сюжета. Однако более правдоподобным нужно, видимо, считать объяснение, исходящее из постулированной выше (см. раздел «Вопросы теории») двухэтапности существования всякого былинного, а не только змеборческого, сюжета в историческом времени.

Декабрь 2008 — январь 2009

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АН	— Академия наук.
Аст.	— Былины Севера / Записи, вступит. статья, коммент. А. М. Астаховой. М.; Л., 1938. Т. 1; 1951. Т. 2.
Бв25т.	— Былины в 25 томах. СПб.; М., 2001—2006. Т. 1—5 (Свод русского фольклора).
Гр.	— Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым. СПб., 2002. Т. 1; 2003. Т. 2, 3.
Гф.	— Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.; Л., 1949—1951. Т. 1—3.
КД	— Древние Российские стихотворения, собранные Киршеем Даниловым. СПб., 2000.
Кир.	— Песни, собранные П. [В.] Киреевским. М., 1860—1874. Вып. 1—10.
Марк.	— Беломорские былины, записанные А. В. Марковым. М., 1901.
МНМ	— Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1, 2.
Онч.	— <i>Ончуков Н. Е.</i> Печорские былины. СПб., 1904.
ОРЯС	— Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук.
ПВЛ	— Повесть временных лет.
ПЛДР	— Памятники литературы Древней Руси.
ПСРЛ	— Полное собрание русских летописей.
РЛ	— Русская литература.
РФ	— Русский фольклор.
Рыбн.	— Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 1991. Т. 1—3.
РЭПСидВ	— Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1991.
СД	— Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1; 1999. Т. 2.
ТЗС	— Труды по знаковым системам // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та.
ФРУ	— Фольклор Русского Устья / Отв. ред. С. Н. Азбелев, Н. А. Мещерский. Л., 1986 (Памятники русского фольклора).

¹⁴⁴ Пропп В. Я. Русский героический эпос. С. 199.

¹⁴⁵ Робинсон А. Н. Эпос Киевской Руси в соотношениях с эпосом Востока и Запада (народная оригинальность и международная типология) // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. М., 1967. Т. 26, вып. 3. С. 214—215.